

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

1958 г.

(в сокращении)

Мимо единственного на полустанке фонаря косяками проносились охапки сырых тополиных листьев. Прямые и стройные, как шомпола, упруго раскачивались они на ветру, и шум их высоких вершин напоминал отдалённый рокот моря.

Темна ночь в ущелье Чёрной горы. Но ещё непроглядней она на маленьком полустанке под горой. Эшелоны идут на запад. Вот и сейчас подошёл длинный состав с пропылёнными вагонами. Никто не сошёл на полустанке, никто не крикнул: "Какая это станция?" Люди, истомлённые дальней дорогой, спали в вагонах.

Когда дежурный по станции, размахивая фонарём, пробежал в голову состава, из предпоследнего вагона высунулся дневальный. Он, вытянув шею, стоял у двери, напряжённо всматриваясь в темноту и прислушиваясь. Дневальный отпрянул, поглядел внутрь вагона. Потом снова выглянул: безлюдье, ветер, ночь...

Спустя минуту вороватой тенью отделился от вагона человек в шинели, отошёл к кустам у арыка и скрылся в них. Раздался пронзительный свист. Человек в кустах рванулся бежать, но тут же притих, прижался к земле. Он понял: это дежурный давал свисток к отправлению. Вагоны тяжело заскрипели, и поезд тронулся в свой дальний путь.

Когда стихло эхо в скалах, человек приподнялся в кустах и начал дышать шумно и жадно, словно перед этим долго сидел под водой.

Бурно вздыхали тополя. С гор тянуло запахом осенних выпасов. Темна ночь в ущелье Чёрной горы...

С тех пор, как Сейде родила, сон у неё чуток, как у птицы. Перепеленав ребёнка в сухое, она сидела при свете фитиля, приткнувшись боком к бешику¹.

В углу спала свекровь. Старая она, слабая, кашляет со стоном, как больная овца. Сил хватает лишь на то, чтобы молиться Богу. Когда Сейде уходит на работу, старуха нянчит внука. Все-таки помощь! Она и в поле носит ребёнка, чтобы мать покормила его грудью, а сама дышит с хрипом, и руки мелко трясутся. Старухе очень трудно, но она никогда не жалуется: кому, как не ей, нянчить первенца своей единственной снохи?

Давно уже за полночь, а всё не спится. Да и можно ли спокойно уснуть? Кто бы мог подумать, кто мог ждать, что настанут такие времена? Появились слова, ранее не слышанные: "герман", "фашист", "повестка"... В аиле что ни день, то проводы. С мешками за спинами собираются мужчины на большой дороге, набиваются в брички, машут на прощанье тебетями. Заплаканные женщины и дети, сбившись в кучу, стоят на бугре, пока брички не скрываются из глаз, потом молча расходятся. Что-то будет дальше? Вернутся ли с войны аскеры?

Прошлым летом, когда Сейде, чабанская дочь, вошла в семью мужа, их дом ещё не был достроен: стены не засаманены и не оштукатурены, крыша не залита глиной. Если бы снова вернуть те дни! Урывками достраивали они свой дом, и, может быть, так же

¹ Бешик – детская кочевая люлька.

урывками Сейде грелась в лучах своего короткого счастья. Помнится, из арыка бежала тёплая струйка воды, а они с мужем, высоко взмахивая кетменями, перемешивали полову с землёй и, заголив ноги до бёдер, месили звучно чмокавшую глину. Это была тяжёлая работа: новое сатиновое платье Сейде полиняло за несколько дней, но они совсем не замечали усталости. Муж тогда казался очень довольным, он то и дело хватал жену за полные смуглые руки, обнимал и, балуясь, наступал ей в глине на ногу. Сейде вырывалась, со смехом бегала вокруг ямы. Когда муж догонял её, она сердилась для виду:

– Ну, оставь, оставь же! Ведь мать увидит – и не стыдно? – Ну, довольно, говорю, ой, ты посмотри только на себя, на кого ты похож, всё лицо в глине!

– А ты сама-то? Сперва на себя посмотри!

И Сейде доставала из карманчика бешмета, брошенного в тени под деревом, маленькое круглое зеркальце. Это она не ленилась делать и всякий раз, застенчиво отворачиваясь от мужа, с восхищением смотрела в зеркальце на своё раскрасневшееся лицо, заляпанное глиной. Но ведь глина не испортит красоты – стоит только смыть её. Сейде смеялась перед зеркальцем, смеялась от счастья.

Пусть себе брызжется глина!

Вечером в темной синеве ночи над головой матовым перламутром светились вершины снежного хребта, за арыком, цвела свежая, душистая мята, и где-то совсем рядом в траве пел перепел. Её охватывало отрадное ощущение светлой спокойной красоты в себе самой и во всей окружающей её жизни. Она ближе пододвигалась к мужу, мягко закидывала руку за его шею. А сколько они мечтали в ту пору! О том, как достроят дом, как обзаведутся хозяйством, как пригласят к себе её родителей и какие приготовят для них подарки... Всё это было счастьем.

Когда засаманили стены, началась война. Кое-как, наспех, оштукатурили стены внутри дома, и тут начали брать джигитов в армию.

Никогда не забыть того дня, не остыло ещё горе разлуки. Словно вчера всё это было. Мобилизованных провожали всем аилом за околицей. Сейде постыдилась людей и не посмела проститься с мужем так, как ей хотелось. Она неловко сунула мужу руку, потупилась, боясь показать слезы; так они и расстались. Но когда джигиты скрылись в степи, Сейде вдруг поняла до боли, что надо было отбросить стыдливость перед старшими, и крепко обнять мужа. Как горько упрекала она себя! Потерянного не воротить. С той поры потянулись гнетущие дни, и всё, чего она не сумела выполнить, теперь спеклось кровью в груди.

Фитиль догорал. Со двора кто-то осторожно постучал в окно. Сейде вскинула голову, насторожилась. Снова повторился негромкий прерывистый стук. Сейде быстро сбросила с плеч чапан и лёгкими шагами подошла к окну.

Через низкое окно во дворе ничего не видать – мрак.

Сейде зябко передёрнула плечами, чуть слышно звякнули подвески на косах.

– Кто там? – подозрительно спросила она.

– Я... Открой... Сейде! – приглушённо и нетерпеливо ответил хриплый голос.

– Да кто ты? – неуверенно переспросила она, отпрянула в сторону и метнула испуганный взгляд на детский бешик.

– Я... Это я, Сейде, открой!

Сейде наклонилась к окну, тихо вскрикнула и, схватившись за голову, опрометью кинулась к двери.

Дрожащей рукой нащупала она в темноте крючок, рванула дверь и беззвучно припала к груди стоящего перед ней человека.

– Сын свекрови! Сын моей свекрови! – сдавленным шёпотом выговорила она по привычке и, уже больше не в силах сдерживаться, назвала его по имени: "Исмаил!" Сейде заплакала. Какое счастье, какое нежданное счастье – её муж вернулся живой и невредимый! Вот он стоит, Исмаил, и от него пахнет крепкой махоркой.

Что же он молчит? Или это от радости? Дышит тяжело и, как слепец, гладит руками её голову.

– Зайдём-ка в дом! – быстро прошептал Исмаил, стрёб её в охапку, шагнул через порог. Только теперь опомнилась Сейде.

– Ой, да что ж это я, глупая? Мать, суюнчу²: сын вернулся!

– Чш! – Исмаил схватил её за руку. – Стой, кто дома?

– Мы одни, сын твой в бешике!

– Постой, дай отдышаться!

– Мать обидится...

– Подожди, Сейде!

Все ещё не веря в то, что муж вернулся, Сейде порывисто обняла его. Она слышала, как под сукном шинели отрывистыми, неровными толчками билось его сердце.

– Когда вернулся-то? Насовсем? – спрашивала она.

Исмаил снял с плеч руки Сейде и сказал глухо:

– Прямо со станции... Идём, показывай сына.

Почти каждый день, в сумерках, с дальних лугов Сейде таскает вязанки хвороста. Долго бредёт она по неприметным овечьим тропам и, когда аил уже близко, присаживается на бутре отдохнуть в последний раз.

Но сегодня Сейде не удалось отдохнуть. Издалека донеслось эхо паровозного гудка. Сейде встрепенулась и быстро пошла, сгибаясь под тяжестью. Гудок паровоза напомнил ей о побеге Исмаила. Беспокойно заныло сердце.

Сейде шла по улице, опасаясь, как бы кто-нибудь не остановил её. "Скорей бы кончились лунные ночи", – думала она. Тогда бы ей не приходилось каждый день ходить за хворостом, готовить Исмаилу еду и потом носить её к нему в убежище. Днём он отлёживался в пещере, а в тёмные ночи пробирается домой. Когда он приходит, они завешивают окна, запирают двери. На всякий случай Сейде вырыла яму и прикрыла её циновкой. Так и живут.

Старуха-мать никак не может привыкнуть к такой жизни. Исмаил начинает иногда расспрашивать, как идут дела в аиле. Но чаще он сидит молча, утрюмый, устало опустив плечи, и с нетерпением поглядывает на кипящий казан. Надо побыстрее накормить его, чтобы до рассвета он успел вернуться в свою пещеру. Сейде суетливо возится у очага и думает свои думы. Ей и жалко Исмаила, и она боится потерять его, боится остаться одна с больной старухой и маленьким сыном.

Исмаил очень изменился. В пещере он не видит солнца, не дышит ветром, лицо его приняло землистый оттенок, на отёкших щёках торчит взъерошенная борода. Иной раз он смотрит беспомощно, как загнанная лошадь, а иной раз глаза его твердеют, черные точки зрачков поблёскивают в щелях век со скрытой жестокостью и

² Суюнчу – радостная весть.

яростью. Жуть берет, глядя на него! В такие минуты Исмаил даже забывает о сыне, которого держит на руках.

Таким ли был Исмаил в прошлое лето? Чёрный от загара, жилистый, как журавль, он работал, не покладая рук, не зная усталости. Тогда они строили дом. Тогда всё было ясно и просто в их жизни, ничто не смущало и не тревожило их. А теперь он дезертир. Теперь он приходит в собственный дом украдкой, по ночам. И как только придёт, уже торопиться уйти.

Сейде старается не замечать этого. В те редкие ночи, когда муж приходит и сидит перед ней с сыном на руках, ей смертельно хочется забыть обо всем, забыть, забыть и хоть на один короткий час по-настоящему быть счастливой.

"Пусть он дезертир, пусть! – утешает она себя, раскатывая на доске тесто. – Мужчина знает, как ему поступать. Ведь Исмаил говорит: "Каждому своя жизнь дорога, а в эту войну только тот и уцелеет, кто сам позаботится о своей голове". Не мне его учить, значит так надо, ему виднее, разве стану я собственными руками отрывать его от себя? Да ни за что! Одним Исмаилом казна не обеднеет. Ну, сбежал, и что ж из этого? Никому никакого вреда, пусть себе бережётся, подумаешь, разве ему охота погибать?... Лишь бы зиму перебиться, – в доме кукурузы мало, дотянуть бы до весны...

По утрам полынь над арыками покрывалась бородками инея, временами выпадал снег. Овцы ходили с мокрой шерстью, дымящейся буроватым навозным паром. За ними неотступно летали сороки, нагло высматривая облезлые бока овец. Зима приближалась, туманная, хмурая... А войне не видать ни конца ни края, всё больше народу уходило на фронт.

На этот раз отправляли самых молодых, которым только что вышел срок, совсем ещё безусых ребят.

Старухи отжимали слезы с ресниц:

– Эх, родненькие, пусть скорей придёт день, когда мы снова услышим ваши песни!..

Сейде тоже была здесь, среди молодых, не смея поднять глаз, словно провинилась перед всеми. Забившись подальше в угол, она прикрыла рот платком и молчит...

И тут Сейде вспомнила: сегодня нужно отнести Исмаилу талкан. Исмаил её ждёт. И снова Сейде уронила голову; мысли её перенеслись к дому: "Талкан недомолот, да и ребёнок некормлен..."

Джигиты вышли на улицу, народ, ожидавший у бричек, колыхнулся, повалил навстречу.

– Благословим их! – срывающимся голосом крикнул с седла табунщик Барпы, скуластый, седой старик. Среди сутолоки и шума брички покатили под гору и вскоре скрылись в тумане.

Когда в аиле стихли голоса, Сейде засунула под чапан мешочек с талканом и несколько лепёшек, взяла верёвку и серп и крадучись отправилась за хворостом.

Туман лежал на пустынных увалах и в логах. Стояла гнетущая тишина – ворон не каркнет. Боязливо озираясь в тумане, женщина спешила к самому дорогому своему, самому близкому человеку.

Ещё с осени почтальон Курман стал объезжать стороной два крайних на улице двора. Он делал вид, что спешит с какой-то срочной доставкой, и пускал лошадь вскачь. Но Тотой почти всякий раз замечала почтальона. Она уже не надеялась, что получит письмо, и все-таки, бросив ступу, которой обмолачивала собранные на поле колосья, выбегала на улицу и махала вслед почтальону жилистой худой рукой.

Заслышав голос матери, трое мальчишек вырывались из-за дувала – они играли там весь день на солнцепёке – и, обгоняя друг друга, кидались что есть духу к почтальону.

– Письмо, письмо от отца!

– О-ой, чтобы враг вас сразил, письма-то ведь нет! Что это за дети! – возмущался растерявшийся Курман. – Сперва узнать надо, что и как, а потом уж кричать на весь аил!..

Дети усиленно сопели носами, недоверчиво поглядывая на его толстую сумку, и не уходили: всё ещё ждали чего-то. Курману было жалко их, босоногих глупышей. Ну, что ты им скажешь?

– Или вы думаете, родненькие мои, что я спрятал ваше письмо? – бормотал он и в доказательство лез к себе за пазуху и потом показывал пустую руку. Сегодня нет, зато в другой раз обязательно будет. Бог даст, привезу в базарный день... А теперь бегите... Да передайте Сейде: для неё тоже нет письма.

Каждый раз, когда Сейде возвращалась с хворостом, её встречал Асантай, средний сын соседки Тотой, мальчишка лет семи, одетый в старую отцовскую телогрейку с обтрёпанными рукавами. У него удивительно чистые, выразительные глаза, взгляд немного наивный, мечтательный.

– Сейде-джене, от Исмаке опять нет писем, и нам тоже нет, – сообщал Асантай со своей неизменной, чуть виноватой улыбкой и потуже запахивал телогрейку, мешком висящую на его щуплых плечах. – Курмаке сказал, что привезёт письмо в базарный день. Он сон такой видел!

Из-под нахлобученной заячьей шапки смотрели на Сейде доверчивые детские глаза. Взгляд их обещал многое, далее то, что невозможно. Если бы мальчик знал, как тяжело Сейде выслушивать его бесхитростные слова! "О Боже, хоть бы какая-нибудь весточка от отца этих детей!" – думала она. Ей казалось почему-то, что если соседка Тотой получит письмо от мужа, то это и ей принесёт какое-то облегчение. Иной раз ночью она вспоминала слова Асантая, и страх нападал на неё.

Тотой жила рядом. Несколько дней назад, ближе к ночи, когда жизнь в аиле замерла, Сейде принялась за стирку белья для Исмаила. Стирка затянулась до рассвета, бельё пришлось сушить над огнём. Ранним утром Сейде собралась по воду. Вышла на порог и сразу же зажмурилась: за ночь густо выпал снег. Унылая, однотонная белизна снега была ей неприятна. Она почувствовала тошноту и головокружение. Ничего, пройдёт. Это от бессонной ночи. Она старалась больше не думать о себе, она думала об Исмаиле. " Скоро ударят морозы, каково-то ему будет в пещере?"

Да, зима легла по-настоящему. Ещё только вчера земля была чёрная, а сегодня даже горы от гребней до подошвы покрыты свежим снегом. Сизые избыбшие вербы согнулись над арыками. Вяло волокутся в небе тяжёлые, сумрачные тучи. Небо, казалось, опустилось ниже, мир как бы уменьшился. Люди ещё не вставали: никому не хотелось выходить на холод в такую рань.

Сейде шла, опустив голову, и размышляла, как бы переправить Исмаилу большую кошму: "Без неё не выдержать ему таких холодов..." Мысли её внезапно оборвались, она увидела следы на снегу. "Это, наверно, Тотой", – догадалась она и тут же увидела её. Тотой шла навстречу с вёдрами. На её ногах – большие тяжёлые сапоги, а сама она тонкая, со впалыми щёками, по углам рта морщины, чапан подвязан

верёвкой по-мужски, тутим узлом. Увидев Сейде, Тотой поставила ведра на землю и стала поджидать её, растирая посиневшие от холода руки.

– Или ты всю ночь не спала? Вон как глаза ввалились и лицо пожелтело, – сказала соседка.

Да, нет, что-то голова болит, – ответила Сейде, потом поспешно добавила: – А что мне делать ночью, если не спать? – И сама испугалась своих слов, чувствуя, как у неё холодеет под ложечкой. "Может, Тотой выходила ночью на улицу и догадалась, что я стирала? Сейчас спросит..."

– Правда, сегодня ночью мне не спалось, сын плакал, – попыталась она как-то сгладить свои необдуманные слова.

Тотой понимающе покачала головой.

– И-и, – протяжно проговорила она, – ты такая же одинокая, как и я! Старуха твоя – тень в доме, только и знает, что сидеть у очага. Хорошо ещё, если вынынчит внука. Совсем одряхлела... И родители твои не близко чабанят... Вот ведь как складывается в жизни, всё одно к одному! – Тотой замолчала, с искренним сочувствием поглядывая на притихшую Сейде. Ей по-настоящему было жаль её. Опушённые густыми ресницами глаза Тотой всегда строгие, пронзительные, сейчас смотрели мягко, спокойно, с каким-то щемящим, милым бабьим раздумьем. Давно Сейде не видела её такой. "В девичестве она, наверно, была красивая. И у Асантая тоже красивые глаза, материнские", – подумала Сейде.

Тотой глубоко вздохнула и сказала:

– Всё убиваешься, писем нет... Что ж, судьба наша такая! Я осталась с тремя детьми, а ты и полгода не пожила с мужем. Самая пора ваша была, а тут война... Сына родила – отец не видел... Обидно, конечно... Эх, всё бы ничего, всё переживётся и перемелется. Да вот писем нет!.. Как подумаю, руки виснут... Вот и зима пришла, а у меня ребятишки голые... Кукурузы осталось всего два мешка... А что это для нас? – Она в сердцах махнула рукой, стряхнула слезы и, сурово блеснув глазами, подхватила ведра.

Испуганная и в то же время обрадованная тем, что Тотой ни о чем не догадывается, Сейде растерянно смотрела ей вслед. Она ничего не сумела сказать Тотой. Отзывчивость этой маленькой женщины, её мужество и слабость растрогали Сейде, и в то же время она чувствовала себя так, словно Тотой, сама того не зная, обвинила её в чем-то, упрекнула. Она сказала, что их судьбы одинаковы, и значит, Сейде не имеет права роптать. Сейде не могла разобраться в своих противоречивых, неясных чувствах и, оправдывая себя, думала: "А что ж мне делать? У каждого своя судьба. Что написано на роду, тому и быть. Если детям Тотой уготовано счастье, отец их вернётся..."

Байдалы, муж соседки Тотой, всю жизнь был поливальщиком. По вечерам, возвращаясь с работы, можно было видеть его на поливе. Размашисто, уверенно вышагивал он по полю, направляя воду в арыки.

"Умеет беречь воду, рука у него золотая!" – говорили о нём в аиле. Он раскатисто хохотал, когда женщины, подоткнув платья и держась за руки, переходили через бурлящий полноводный арык:

– Э-эй, что вы там? Бойтесь, вода утащит? Всё равно в мои руки попадёте. Не упущу!

– Чтoб твои арыки размыло, черт ненасытный! – крикливо отвечали ему женщины-сверстницы.

А он, очень довольный, продолжал хохотать всё так же раскатисто.

Иной раз, забежав к соседям, Сейде заставляла такую сцену. Тотой, недовольная чем-то, поджав губы, ожесточённо гремела скребнем по дну казана, а Байдалы мастерил ребятам игрушки и говорил спокойно:

– Зря ты ругаешься, байбиче. Живём не хуже других... Ну-ка, поди, в каждой ли семье по три сына? Ты мне их родила, а другого богатства мне не надо... Вот они, мои богоданные молодцы!

С фронта Байдалы часто писал домой, а с осени писем не стало... Как мы видели, почтальон Курман, проезжая мимо, испытывал чувство вины, как если бы должен был вернуть долг, а денег у него не было. Зато Мырзакул, председатель сельсовета, стал наезжать чаще. Уж одно это пугало Сейде до смерти. Может быть, Мырзакул подозревает и хочет выследить Исмаила? Однако по его виду ничего пока не заметно. До сих пор о побеге Исмаила не знает ни одна душа в аиле. Исмаил очень осторожен.

Проезжая по аилу, Мырзакул мимоходом заглядывает к ним как бы по делу. До ухода в армию он был молодой джигит. Чёрный каракулевый тебетей носил лихо, набекрень. В аиле его считали лучшим певцом; сам слагал песни. Вернулся с фронта без одной руки – не узнать его теперь, совсем не тот. И характером не тот: вспыльчивый, крутой. Похож на дерево, искалеченное бурей.

Обычно Мырзакул въезжает во двор к Тотой.

– Э-эй, Тотой, где вы там? Живы? – Потом заглядывая со стремян через высокий дувал, издали окликает Сейде: – Здоров ли твой малыш, Сейде?..

Сверни мне сигарку из табака, что у тебя припрятан дома. Да иди сюда, к соседке... Дело есть... Потом управисься...

Мырзакул никогда не спрашивал, получают ли они письма от мужей. Не хотел лишний раз расстраивать женщин, да к тому же он всегда сам просматривал аильскую почту и знал все дела аила. И всё же всякий раз, встречаясь с ним, Сейде волновалась. Ей казалось подозрительным, почему он не спрашивает, есть ли письма от Исмаила. Значит, что-то знает. Значит, это неспроста...

Свернув сигарку из табака, который она припасла ещё летом на плантации, Сейде раскуривает её и идёт к соседке, изо всех сил стараясь подавить в себе нарастающий страх. Мырзакул, завидя её, слезает с лошади и с, наслаждением затягиваясь дымом, заводит безразличную речь: о том да о сем...

– Хороший табак припасла, Сейде! – похвалил он её однажды. – Пошли Исмаилу в посылке, пусть покурит. Вспомнится ему наш Талас. Ведь такого табака, как у нас, нигде нет.

– Пошлю, – с трудом выговорила Сейде. Надо бы ещё что-нибудь сказать, но ничего не приходило на ум. Ей показалось даже, что Мырзакул угадал по лицу, как мечутся её мысли, и от этого ещё больше покраснела. Она притворно закашлялась: – Фу, какой горький дым, горло дерёт... И что в нём хорошего?..

В другой раз Мырзакул осмотрел деревья, высаженные на огороде Тотой вдоль арыка, и упрёкнул её:

– Старший-то твой уже работник... Обрубить надо ветки, а то деревья перестанут расти. Да и лишние дрова пригодятся...

Тотой с досадой глянула на Мырзакула, тяжело вздохнула:

– А если и перестанут расти, плакать не стану: кому они нужны! Разве дерево – опора человеку?.. Поди-ка попробуй: и в колхозе работай, и колосья собирай, и детей корми... А ты ещё тут про деревья толкуешь...

– А ты знаешь, Тотой, может не только деревья, но и тень их пригодится, – спокойно произнёс он и вдруг вспыхнул, закричал, будто давно собирался высказать им всё это в глаза: – Вы бросьте эти свои бабьи хныканья! Как чуть задержка с письмами, так они уж голосить готовы... Русские женщины в окопах с винтовками сидят, не хуже мужчин, сам видел... А вы у себя дома – ноете, что писем нет!..

Тотой промолчала, не возразила ни слова. А Сейде ответила неожиданно для себя:

– Сегодня же всё сделаем!

Мырзакул больше ничего не сказал. Всё ещё возбуждённый и злой, он как-то странно, внимательно посмотрел на неё – кажется, с одобрением. Потом сел на лошадь и уехал.

В этот день, помогая Тотой по хозяйству, Сейде испытывала безотчётную, тихую радость, она успокоилась, будто искупила свою вину. Давно уже не было у неё такого ясного света в душе, такого подъёма, когда всё хочется сделать непременно сегодня же, когда работа спорится в руках.

И так повелось: каждый раз, когда наведывался Мырзакул, смятение и страх охватывали Сейде. Всё ждала, когда он спросит: "Где твой Исмаил? Куда ты его прячешь?.." И сердце билось так гулко, что она боялась, не услышал бы он.

С буранами и трескучими морозами подошла самая холодная пора зимы – чилде. Всю неделю не утихал ветер, сгонял снег в крутые, плотные сугробы.

Опустел аил. Жить изо дня в день становилось труднее. Только бы дотянуть до весны.

Все, что есть в доме, что удавалось добыть, Сейде приберегала для мужа. "Сами-то мы у себя дома, хоть на воде, да перебьёмся", – говорила она старухе, которая и без её слов готова всем пожертвовать ради сына. И всё же, когда Исмаил приходил домой, сердце Сейде сжималось в горячий комок от стыда и жалости: "Ох, что станет с тобой в такие холода? Был бы ты дома, пылинке бы не позволила сесть на тебя!.." А он сидел у огня сычом, мутно и зло поблёскивали его одичалые глаза. Лицо, как кошма, загорело от холодов. Сейде понимала: тяжело ему; она старалась обласкать мужа, развлечь его разговорами.

Позавчера, когда Сейде возвращалась с работы в табачном сарае, у моста её догнал Мырзакул.

– Пстой, Сейде! – окликнул он её.

Казалось бы, ничего подозрительного не было в его голосе, но Сейде в один миг насторожилась, ожидая самого страшного, и быстро прикрыла платком задрожавшие губы. Мырзакул подъехал к ней на рыси, нагнулся с седла и пристально всмотрелся в лицо. "Узнал! – ужаснулась Сейде.

– Я хочу по-родственному предупредить тебя, Сейде, – проговорил он, – завтра будем выдавать понемногу зерна семьям фронтовиков... Так вот, не все попали в список. Тебя тоже нет, Сейде. Ты же понятливая, не обидишься. Кое-как разделили по пять, по десять кило на многодетных, таких, как Тотой... У Сейде отлегло от сердца...

– Ну что же, нет так нет, – ответила она, приходя в себя.

Мырзакул понял это по-своему.

– Но ты, Сейде, смотри, не думай плохое, – как бы оправдываясь заговорил он. – В другой раз и тебе дадим... Обязательно... это я обещаю... Ты и старухе так скажи, а то будет ворчать: "Мырзакул нашего рода, а что от него толку, хоть он и сельсовет..." Я рад бы сделать для своих да сама видишь... – Мырзакул задумался, оглядел заснеженные айильные кибитки, тронул лошадь, но тут же придержал. Что-то ещё собирался он

сказать, но, видно, не решался. Он снова посмотрел ей в глаза странным, непонятным взглядом, как тогда, во дворе Тотой, только на этот раз более откровенно. Да, теперь было ясно: с нежностью и восхищением смотрел он на Сейде, и глаза его говорили: "Я знал, что ты поймёшь меня... Я всегда верил тебе... Ты самая лучшая на свете, я люблю тебя... Давно уже люблю..."

Пугливо прикрываясь платком, бледная от страха и волнения, Сейде невольно отпрянула назад. В её широко раскрытых глазах застыло удивление, она была сейчас очень хороша.

– Я пойду! – тихо, но твёрдо сказала она.

– Ну, иди, сын-то, наверное, плачет...

Сейде круто повернулась и пошла, едва удерживаясь, чтобы не побежать. Отойдя немного, она оглянулась через плечо, остановилась. Понурился, не оглядываясь, Мырзакул ехал по-над берегом. Лошадь шла тихим шагом, он не понукал её. Может быть, потому, что Мырзакул поднял ворот шинели, сейчас особенно бросалось в глаза, как он похудел, ссутулился, как низко опущено его искалеченное безрукое плечо. ..

Все перепуталось в её голове, сухой звон снега под ногами резко отдавался в висках. Вплоть до самого дома Сейде испуганно оглядывалась и прикрывала платком дрожащие губы.

Вчера аил облетела чёрная весть. Женщины в табачном сарае перешёптывались между собой, а когда мимо проходила Тотой с тюком табака на спине, они скорбно замолкали. Одна из них, в чёрной шали, не удержалась и шумно всхлинула:

– Несчастные сироты! Пусть ваше горе падёт на голову германа!..

В сельсовет пришло извещение о том, что Байдалы погиб под Сталинградом.

В последнее время то на том, то на другом краю аила часто слышатся траурные крики.

В такие скорбные дни ей хотелось убежать куда-нибудь в горы, в безлюдное место и причитать там в одиночестве, чтобы никто её не видел и не слышал.

Вот теперь дошла очередь и до Тотой. Бедная Тотой, она ещё не знает, какое горе свалилось на её плечи! Извещение о смерти Байдалы хранилось пока у Мырзакула. У киргизов не принято говорить о таких вещах сразу. Время, когда сказать, должны определить старики.

Мырзакул спросил у аксакалов совета, как поступить с извещением о смерти Байдалы. "В такую тяжёлую годину не смеем мы сказать ей о смерти мужа. Если у Тотой опустятся руки, что будет с её детьми? Нет, не можем мы лишить её последней надежды. Лучше отложить это дело до осени: соберём урожай, пусть народ немного насытится. Вот тогда известим округу о гибели нашего батыра и всем аилом справим поминки с подобающими почестями..."

Весь аил нашёл это решение стариков разумным. До осени никто не имел права заговорить о смерти Байдалы. Но женщины в табачном сарае не утерпели, всплакнули украдкой: ведь Тотой ничего не знает.

Ночью пришёл Исмаил, и Сейде рассказала ему о судьбе их соседа Байдалы. Исмаил на это ничего не сказал, только непонятно пожал плечами. Бог знает, о чем он думал. Может быть, в душе пожалел Байдалы, а может быть, и нет. Даром он, что ли, в бегах, даром, что ли, бережёт свою жизнь? А Байдалы, очертя голову, бросился на мину. Ну и погиб. Так оно и должно было случиться. Нет, лицо Исмаила непроницаемо, он не скажет ничего.

Молча выхлебав большими, гулкими глотками полную чашу похлёбки, Исмаил недовольно буркнул: – Ещё есть?

"Куда уж ему тут горевать по другим? Сам день и ночь на холоде, глаз не смеет показать, да к тому же день сыт, день голоден..." – думала Сейде, оправдывая Исмаила.

Проводив его, она долго не могла уснуть. Ей жутко было представить, как сейчас в морозном поле, по зарослям чия кружится с посвистом злой ветер, а Исмаил, один среди ночи, пробирается к себе в убежище. А тут ещё сын расплакался. Плохо спалось в эту ночь.

Утром прискакал почтальон Курман. Полы его шубы разметались в стороны, он был чем-то сильно встревожен.

– Сейде! – застучал Курман в дверь. – Из района прибыл инкуу³, срочно требует тебя! Собирайся живей!

Сейде выбежала на стук и всё сразу поняла. Даже не спросила, зачем её требуют. Молча стиснула зубы. "Исмаил, родимый, как же быть теперь?" – пронеслось в её голове.

– Вот ещё несчастье-то! – с досадой проговорил Курман. Неизвестно, к кому относились эти слова. Не сказав больше ни слова, он стегнул лошадь и ускорился.

Сейде не помнила, как она добралась до сельсовета. Дрожащей рукой отворила дверь. За столом сидел человек в шинели, с кобурой на боку. Разглядеть его Сейде не могла, голова её кружилась, земля уходила из-под ног. Но сейчас, когда Сейде вошла в сельсовет, в ней вдруг проснулась отчаянная решимость, в которой потонули все её колебания: "Не отдам Исмаила! Не отдам!"

– Садитесь, – сказал оперуполномоченный НКВД. Сейде, как во сне, нащупала табуретку и села.

Закончив расспросы, уполномоченный долго писал, испытующе поглядывая на неё и о чем-то раздумывая. Потом сообщил, что её муж дезертировал из эшелона, прихватив с собой винтовку с патронами.

– Где он сейчас? – спросил уполномоченный.

– Не знаю, я ничего не знаю, – ответила Сейде.

– Вы не скрывайте, мы его всё равно найдём. Если желаете ему добра, пусть объявится по своей воле. Вы должны нам помочь.

Что бы уполномоченный ни спрашивал, как бы ни убеждал, Сейде на всё отвечала коротко: "Не знаю". А сама думала: "Не враг я себе. Делайте, что хотите, хоть убейте, ничего не скажу!"

Когда допрос кончился, Сейде пошла к дверям, напрягая все силы, чтобы не упасть, чтобы идти прямо. У выхода на улицу ей встретился Мырзакул. Он порывисто шагнул от коновязи, на ходу докуривая сигарку. Напряжённый и какой-то нездоровый был он сегодня. Лицо осунулось, на скулах расплылся неяркий, тусклый румянец, под вытертым сукном шинели, угловато выпирая, подёргивалось безрукое плечо, тебетей был плотно надвинут на брови.

Увидев Сейде, Мырзакул остановился. Окинул её цепким взглядом исподлобья.

– Была там? – кивнул он на дверь. – Сказала?..

– А что мне рассказывать? Я ничего не знаю, – ответила Сейде.

– Во-он как! – Мырзакул помолчал, горько усмехнулся, потом бросил окурок, растоптал его сапогом и резко вскинул брови.

³ Инкуу – от слова "НКВД".

– Ты думаешь, доброе дело делаешь для него? – спросил он в упор. – А совесть перед народом? Куда ты её денешь? Мы все мужчины из потомков Давлета, все, кто носит тебетей на голове, – мы все пошли, ни один не остался. В добрые, в лихие ли дни – упаси бог отойти от народа! Позор всем нам! Ты понимаешь это? Пока не поздно, приведи Исмаила, пусть он воюет там, где все.

Сейде стиснула запрокинутые на шею руки. Ещё одно его слово, и всё будет кончено: она не выдержит, упадёт на землю и признается во всем...

– Ты... ты меня совестью не бей! – иступлённо крикнула она.

И это было всё, что она могла сделать. Ослеплённая отчаянием и яростью, она рванулась к Мырзакулу:

– Может, он и сбежал! Откуда мне знать? Каждому своя жизнь дорога, каждый себя бережёт. А тебе-то что? Или тебе мало места в айле? Или ты хочешь, чтобы все вернулись такими же калеками, как ты?

Мырзакул оцепенел, культя его судорожно взметнулась, лицо исказилось болью и гневом. Он долго хватал ртом воздух.

– З-значит, я в-вернулся калекой потому, что я д-дурней твоего Исмаила?

– Мырзакул кинулся в сторону, нагнулся, словно ища что-то на земле, потом подбежал к Сейде, занёс над головой камчу (кнут) и начал хлестать Сейде по плечам. Она не вскрикнула, не отшатнулась. На какую-то долю секунды мелькнули перед ней до крови прикушенные губы Мырзакула, его страшные, горящие ненавистью глаза. Широко размахнувшись, Мырзакул закинул камчу на крышу и побежал прочь, прижимая к груди, как к кровоточащей ране, скомканный в кулаке рукав шинели.

Он бежал, не оглядываясь, по огородам, через сугробы и арыки. Потрёпанная полевая сумка отчаянно хлопала его по бедру.

Все ещё не понимая, что произошло, Сейде с ужасом смотрела ему вслед. Только теперь она почувствовала, как горят её избитые плечи. Обида душила её, хотелось закричать, громко заплакать.

Вернувшись домой, Сейде ткнулась лицом в худые колени свекрови и, обнимая безответную, безропотную старушку, зарыдала:

– Бил меня Мырзакул, мама, бил...

Она плакала долго и безутешно. Сквозь слезы смутно слышала прерывистый голос свекрови:

– Родимая ты моя, дитя моё, кормилица... Вся надежда на тебя, ты наша опора... Всё вижу, всё знаю. Век мне молиться на тебя... Стерпи уж эту обиду, смолчи... А нас с Мырзакулом пусть бог рассудит, забыл Мырзакул родовой долг...

Ночью Сейде встретила Исмаила у оврага. Он вернулся в пещеру, не заходя в аил.

К весне у многих айльчан хлеб подошёл к концу – остатки выскребали. Только и речи было – поскорее бы уж отелились коровы да дожждаться бы молодого ячменя, а там пшеница подойдёт. Но сказать легко, а попробуй дождись.

"Весной скот тощает, кость гнётся". Человеку тоже не легче...

Сейде переживала самые тяжёлые дни. После её столкновения с Мырзакулом Исмаил перестал ходить домой, ни днём ни ночью он не покидал пещеры.

Отправляясь за хворостом, Сейде сама приносила ему пропитание, а если не удавалось днём, шла ночью. Всё бы ничего, но одно её очень тревожило: Исмаил стал ненасытный. Сколько ни принеси, всё подберёт до крошки: может, и наелся уже, а глаза по-прежнему голодные, жадные...

Теперь Сейде вставала с рассветом и отправлялась на прошлогодние гумна. Там она расстилала на снегу мешковинный полог и до самого вечера перевеивала полову, перекидывала солому. То, что осенью ушло в охвостья, сейчас она выеивала, собирая по зёрнышку. За день набирался кулёк сморщенных, щуплых зёрен. По ночам Сейде молола их, пекла Исмаилу хлеб. Но до каких же пор можно так перебиваться? Была у Сейде заветная мечта – о телке. Пошли корове Бог благополучно отелиться, тогда и молоко будет у Исмаила и масло. Замкнулся Исмаил в себе, озверел, будто весь мир ненавистен ему, всегда тупо молчит, ни одного хорошего слова от него не услышишь... Что у него на уме? О чем он неотступно думает? А если откроет рот, больше всего говорит о еде, и думает, вероятно, только об этом. Когда речь заходит о мясе, во рту у него собирается слюна, и он сплёвывает со злостью. Иногда ни с того ни с сего мрачно заявит:

– Кровь у меня стала холодная: воды в ней много: Очень много...

Что-то недоброе всколыхнётся в глубине его глаз, и опять молчит, упорно молчит. О чём он думает в такие минуты? Как бы не потерял рассудка...

"Может, он тоскует по сыну?" – подумала однажды Сейде. На другой же день, купав ребёнка, она надела на него чистую одежку, укутала и вышла с ним на улицу.

– В гости к своим схожу, в Малое ущелье, – отвечала она на вопросы соседей.

А сама пошла к Исмаилу. В этот день Сейде была счастлива. В аил вернулась через сутки...

Весна обещала быть ранней. Сегодня с самого утра теплынь, талая вода журчала в арыках, подтачивая осевшие, набрякшие влагой сугробы...

Вон за тем неприступным хребтом, за нетронутыми сине-белыми снегами лежит Чаткал.

Скорей бы пришла весна, скорей бы дожидаться начала лета...

Но то, что ждала Сейде, заключало в себе гораздо большее. С открытием пути через неприступный в другие времена года снежный перевал – открывался путь на Чаткал, путь к спасению мужа и всей семьи. И она хорошо понимала: то была для них единственная возможность, единственный выход...

И для Исмаила, одичавшего, оглохшего от собственного плена, свет забрезжил впереди.

Мать Исмаила – тихая, болезненная старушка Бексаат в ту зиму жила жизнью крота, затаившегося в норке под кучкой земли и лишь изредка высывающегося, чтобы глянуть – стоит ли мир на месте. При том положении, что приходилось скрывать от других сына-дезертира, чутье подсказывало ей никуда не выходить со двора, нигде не показываться, избегать лишних встреч и разговоров с односельчанами. Иного образа поведения трудно было придумать.

Сидела с внучонком дома, с неё и спрос был не более того.

Самое же главное – такая жизнь матери вполне устраивала сына и невестку. На неё они могли положиться. Не будь старухи, как бы они выходили из положения, как бы Сейде могла оставить ребёнка дома, чтобы сходить за хворостом, а заодно и в убежище мужа в предгорьях.

Сколько раз, бывало, до случая избиения её Мырзакулом, предупреждала Сейде сама свою свекровь уметь держать себя, если вдруг кто спросит о сыне. Старая Бексаат понимающе кивала при этом. Она обычно молча слушала невестку, когда они, усыпив малыша, невольно начинали разговор всё о том – как быть, что будет...

– Боюсь, боюсь, Сейде, чем всё это кончится! Сейде при этом отчаивалась в душе, но виду не подавала, приходилось делать над собой усилие:

– Успокойся, эне, зачем плакать заранее. Вот теплеет, снег сойдёт, земля просохнет, всё легче станет и ему, и нам, – приговаривала она, чтобы только не всплакнуть самой. В ожидании Исмаила – он появлялся обычно к полуночи – принимались за дела, чтобы накормить и согреть его с дороги и чтобы к рассвету он снова покинул аил. Перед приходом мужа Сейде выходила во двор, чтобы предупредить, если что. Сейде ждала с тревогой появления Исмаила и тем временем обращалась мысленно к звёздам и луне. Только им могла она излить изболевшуюся душу, только к ним обратиться, чтобы они, каким-то чудом услышав её, оберегали бы её мужа, малыша, старуху и саму её от тех, кто как только узнает, что Исмаил дезертировал из армии, так повяжет их всех и погонит в Сибирь на издыхание. "Услышьте меня, – творила она свою звёздную молитву, – только вам скажу.

Сколько будет длиться эта большая страшная война в тех краях, куда всех гонят воевать? Сколько можно так, как мы теперь, жить, скрываясь ото всех, а вдруг узнают, тогда что?.. И его жалко, одичал уже, один, как волк без стаи. Тяжко ему. Кашляет крепко, простыл. И дома, почитай, всё на исходе. Картошки в погребе едва-едва, той, что на семена оставляли, да и та прорастает. А с мукой ещё хуже. Уж как мы бережём каждую горсточку, а хлеб печём только для него, а сами только на кукурузной каше... Неужто и в прошлые времена людям жилось так худо? Говорят, что и прежде бедности было много, но войны такой не было. Лучше быть бедняком, но только не бежать ни от кого и ни от чего..."

Если Исмаил запаздывал почему-либо, – иногда он долго выжидал, чтобы во всех домах погасли окна, чтобы ни с кем не столкнуться невзначай, – то и Сейде оставалась ждать его за сараем терпеливо и верно. Когда Исмаил возникал поодаль в темноте, Сейде, позабыв обо всем, уводила его домой... А на рассвете он снова исчезал.

Обстирывать его было не трудно, но сушить мужнины рубахи и штаны во дворе Сейде не решалась. Вдруг кто-нибудь заглянет и спросит – что тогда сказать? И потому выстиранное белье сушила у очага старая Бексаат.

И вот однажды, сидя у очага с просушкой на слабеющих старческих руках, заплакала она тихо и сказала, обращаясь к снохе:

– Сейде, всё хочу сказать тебе – что-то у меня внутри, болезнь какая-то нехорошая. Всё время боль в боку, как камень давит. Сплю – давит камень, хожу – давит. Чувствую, силы уходят.

– А что же ты молчала? И давно? – Сейде теперь только убедилась, как сильно сдала старуха, как померкли глаза, и поняла, чего той стоило молча, безропотно сносить снедающий изнутри недуг. И ей стало не по себе. – А я и не замечала, – сказала Сейде виновато. – Надо же что-то делать, если так.

– Да я не об этом, доченька. Есть другая боль, которую я с собой не унесу. Моя боль, что внутри, уйдёт со мной. Но, как подумаю, что будет с вами, как же жить, сколько можно терпеть и ему, и тебе такую жизнь, что глаз нигде не поднять... – и она расплакалась, ещё больше комкая в руках полусухое белье.

– Ведь человек не может жить без людей. Он потому и человек, что с людьми. И его, единственного моего, жалко, не могу пересилить; если женщина змеею родит, то и змея для неё своя плоть, как своя печень, не отделишь от себя. А он для меня всё, ради чего жила на свете. Мне ли тебе рассказывать. Ты сама уже мать. И вот хочу тебе сказать: сама знаешь, родом мы не здешние. Появились мы здесь – я на сносях твоим

Исмаилом была. Сынок родился и вроде зажили, а муж мой – всё хуже и хуже ему со здоровьем. Кашлял сильно, лёгкими страдал. И через пять лет он умер.

И осталась я одна с пятилетним сыночком. И тогда после поминоков приехали мои братья, ты их не знаешь.

– Слышала, знаю. Сама как-то говорила. В Чаткал они подались, – подсказала Сейде.

– Верно, верно. Я же тебя сама предупредила, чтобы ты об этом никому не говорила. А братья мои были люди крепкие, работающие. Приехали и говорят, мол, давай мы тебя к себе поближе переселим. Здесь ты одна, а при братьях вернее будет. Переезжай, мы тебе поможем, а там как судьба... А я им говорю: спасибо, братья мои. Послушалась бы вас, да дайте срок. Годовщину покойника отмечу здесь, а там видно будет. А через год, после поминоков, пока я думала да собиралась, начали народ кулачить. Ну, и тут уж им не до нас было. Оба мои брата – Усенкул и Арын догадались вовремя оседлать коней да махнуть за перевал, в самый Чаткал. А с ними и семьи перекинулись туда же. Ну, и осели там. В тех Чаткальских горах только летом на один месяц открывается перевал, а в другое время туда только птица разве может пролететь, да и то замёрзнет на лету, пока одолеет те хребты да горы. Вот они туда и ушли, чтобы с глаз долой.

И тут её осенила какая-то смутная догадка, но настолько неопределённая, что она и не стала додумывать ту мысль до конца, а лишь спросила старуху:

– Так что, эне, что ты хотела сказать – о Чаткале ты говорила?

– А то, вот что сказываю, – ответила та. – Так вот, братья мои подались с семьями в самый Чаткал. Как в воду глядели. В тех далёких горах никто никому не власть. Горы там всему власть: сумеешь прижиться, скотом обзавестись – выживешь, не сумеешь – никто не виноват: иди дальше, к узбекам спустишься с гор. Братья снялись да ушли, а дома их соседи, разорили дотла. Да только проку никакого не видели, хоть и награбили. А потом голод нагрянул. Ну, а перед этим мало-мальски хозяйственных людей всех покулачили. По всем айлам как метлой прошлись. Многие так и сгинули в Сибири. А мои братья уцелели. Больше мы не виделись, правда. Говорят, и там они корни пустили, зажили неплохо. Они теперь чаткальские аксакалы. А живут вроде неплохо.

– Ну и что? Ты к чему всё это, эне?

– Да к чему? А к тому, что думаю я вот над судьбой своей, над жизнью вашей. Ведь вроде всё обошлось. Когда братья в Чаткал ушли, осталась я одна. И одолела судьбу, как бы трудно ни было. В колхозе работала. Сына вырастила. Трактористом стал, а тут война. Сын несчастный в бегах, и проклясть его не могу, не он затеял эту войну, не хочет он погибать, и ты мыкаешь теперь горе, и ребёночек ваш, внучонок мой, спит, как птенчик, а что будет с ним? И никто не должен знать, и всё надо скрывать...

– Это всё верно, – тяжело вздохнула Сейде, перебирая при свете лампы чашку зерна на помол. – Что ж, значит, мы с тобой такие горемычные. Ну, мы-то как-нибудь дома сидим, в тепле. А каково ему, в пещере?

– Вот и я об этом, – вставила старуха Бексаат, отворачиваясь сама от своих же слез, вытирая их бельём. – Не могу я собственного сына проклясть, но и помочь тебе с ним тоже нечем, вот совсем разболелась. Вот и думаю я, часом, а не двинуться ли вам, коли дотянем до лета, в Чаткал. Берите дитёнка и уходите, там вы найдете моих братьев или их детей, а мне куда – я уж останусь умирать...

– Пстой, эне, пстой! – перебила её Сейде. – В Чаткал, говоришь, – и сама обрадовалась: ведь и она подумала где-то об этом. – Только давай поразмыслим как следует, – предложила Сейде, и они невольно замолчали. Свекровь принялась досушивать белье над огнём, а невестка сосредоточенно выбирала сор из кучки пшеничных зёрен. Потом они снова заговорили.

В ту же ночь, не откладывая, когда пришёл Исмаил домой, Сейде поведала ему о чаткальском замысле. И это явилось поистине великим событием. Впечатление было такое, точно бы перед взором Исмаила вдруг открылась дверь в глухой, крепостной стене. Он был потрясён и удивлён тем, что дома мать и жена нашли верный ход, путь к спасению, ибо ему открылся выход из собственного плена.

– Вот это да! Как вы могли придумать такое! – не переставал Исмаил удивляться и восхищаться. – Да ведь на Чаткале у меня, выходит, и в самом деле родные дядья живут. Да это же сам Бог послал, сам Бог велел, тут и думать нечего. Только бы теперь дожить до лета, дотянуть, а там, как только откроется перевал, не терять ни одного дня, ни одного часа... И как это мне в голову не приходило.

Радости Исмаила не было предела. Его охватило ошеломляющее озарение. Ещё ничего не произошло, ещё стояла стылая зима, впереди предстояла слякотная, дождливая весна, ещё далеко было до лета, ещё не сошли снега в предгорьях, ещё не забушевали дикие паводки с Великих гор, ещё не сошли грозные обвалы и оползни на пути, ещё ничего не было готово для такого тяжёлого похода, всё ещё было впереди, а Исмаил уже не находил себе места. Его радовало, что жена и мать понимали его и полностью разделяли его чувства, потому что они знали, чего стоит каждая минута его дезертирской жизни, ибо человек в его положении, спасая свою голову, по сути дела вступал на смертельный путь, как и на войне. Там его могли убить враги, здесь его могли убить свои...

За этой беседой, взаимно обнадеживающей, предупредительной и потому облегчающей души, проходила ночь. Особенно Исмаил был в ударе. Раза два брал на руки спящего Амантура, тискал его, целовал и шептал ему: "Вот мы с тобой двинем на Чаткал, к дядьям нашим. И будем там как люди, как все. Приучу тебе маленького лошадёнка, чтобы скакал ты на нём по горам. То-то будет весело, бабка и мать перепугаются, а?"..

Вскоре запели дальние петухи, а потом и у соседей. Исмаилу пора было уходить. Он засобирился и перед выходом склонился над малышом, потом сказал матери несколько слов на прощанье. Было уже сумеречное предраассветье. И все в аиле ещё спали.

Сейде вышла его проводить и во дворе сказала мужу:

– Слушай, Исмаил, если завтра ночью я не буду тебя поджидать вот здесь, то ты не заходи домой, сразу возвращайся к себе.

– А что, что такое? – встревожился Исмаил.

– Мне кажется, мать тяжело больна. Она не показывала вида, это чтобы тебя не расстраивать. А лечить её надо. Лекарю надо её показать.

– Вон оно в чём дело, – протянул Исмаил. – Больна, говоришь, тяжело. Ладно, учту. Лечи. Может, травы какие помогут.

На том они попрощались. Сейде долго ещё провожала его взглядом. Он шёл задами по своей знакомой тропке. Сейде представила себе, как в полном безлюдье, скрываясь среди зарослей чия, дойдёт он до своего укрытия в предгорьях и ляжет

спать, укрывшись тяжёлой шубой. В этот раз, однако, на душе у неё было полегче, ибо появилась цель, ради которой им стоило жить, – готовиться к уходу на Чаткал.

Когда же Сейде вернулась в дом, то буквально с порога навалилась поджидавшая беда – свекровь тихо стонала в забытии. Старушка было плоха.

– Эне, успокойся. Сейчас тебе станет легче, возьми себя в руки. Сейчас я тебе помогу!

Я сейчас приложу сюда горячую кошму, а потом раскалённые зерна. И чаю горячего... Ты только потерпи. Сейде лихорадочно думала, как же ей быть теперь.

Следовало в таких случаях незамедлительно показать больную знающим людям. А пока она уложила старуху в постель, и та, пригревшись, стала чуть меньше стонать да охать.

Было уже утро. Быстренько накормив ребёнка, Сейде понесла его к соседке Тотой, чтобы та час-другой присмотрела за малышом, а сама пошла к знахарке. Но её посещение носило чисто сострадательный характер: она посоветовала призвать большего лекаря – старца Эмчи-Мусу, того, что жил за рекой, в маленьком аиле Арча.

Быстро шагая по кочковатой, смёрзшейся земле, тяжкую думу несла в себе Сейде, и тяжкую и мятущуюся в поисках выхода из безвыходного, отчаянного положения. Все надежды её были теперь на исцелителя Эмчи-Мусу. Старец был знаменит в округе, лечил травами и молоком. И теперь Сейде молила бога, чтобы он осенил Эмчи-Мусу таким исцелительным таинством, когда бы за несколько дней старая Бексаат распрощалась с хворью и снова приглядывала за домом, и снова ждали бы они ночами Исмаила и вели разговоры о сборах, считали бы дни, когда им суждено будет с поклажей на двух ослах двинуться всем в Чаткал...

Как и обещал старец Эмчи-Муса, он прибыл к вечеру. А перед этим Сейде вышла из дома и стояла на пригорочке, поджидая лекаря, чтобы старец безошибочно нашёл их двор.

Эмчи-Муса был крупным стариком, смуглолицым, с крючковатым большим носом, с белой бородой и очень внимательным, внушительным взором. И в этом взгляде и в голосе была его сила.

– Что же ты мёрзнешь здесь, доченька, я бы и сам нашёл дорогу, спросил бы, где дом старухи Бексаат, – пробасил он, приближаясь к тому месту, где ждала его Сейде.

– Не беда, не беспокойтесь, я не мёрзла, – ответила Сейде. – Кого же ждать нам, если не такого человека, как вы, Эмчи-ата! – промолвила она, улыбаясь старику.

– Ну-ну, – продолжал тот, – так води меня, где она там, бедняжка Бексаат, что там с ней? Вот беда-то. Сын на войне, сама больная, холод и голод кругом...

Старец семенил на ослике, приближаясь к дому, она шла рядом. Сейде помогла старцу сойти с седла и повела его в дом. И когда они подходили к дверям, Эмчи-Муса приостановился:

– Доченька, я понимаю, как тебе тяжело, – промолвил он, внушительно и даже сурово глядя ей в лицо. – Будем надеяться, что всё обойдётся к лучшему. Но когда я буду осматривать и скажу, как лечить, – травы я с собой привёз, вот они в сумке, – то запомни, ни о чем не допытывайся и не расспрашивай сверх того, что я сам скажу. Ты поняла меня?

– Да, Эмчи-ата, я поняла вас.

Вначале, когда Эмчи-Муса переступил порог, он улыбнулся из-под седых усов больной, лежащей в углу:

– Что это ты надумала, Бексаат, не ко времени разболелась. Повременила бы.

У свекрови не хватило сил ответить лекарю в этом тоне.

– Тяжко мне, Эмчи-Муса, – с усилием, с надрывом простонала старушка. – Может, снадобье какое подскажешь.

– Ну-ну, сейчас, сейчас подумаем.

Сейде молча стояла в углу, чтобы не мешать. И пока Эмчи-Муса занимался своим делом у постели больной. А тем временем Эмчи-Муса, сосредоточившись, точно бы он улавливал неведомые другим звуки, хмуря брови, прощупывал. Затем лекарь долго водил ладонью, то слегка прикасаясь, то вдавливая пальцы, по животу, по бокам больной и, находясь подле неё, молча обдумывал нечто, только ему известное, и чем дальше, тем больше мрачнели его глаза. От Сейде это не прошло незамеченным.

Старый Эмчи-Муса не сразу ушёл, не сразу взгромоздился на своего ослика, было уже темно, когда он попрощался с Сейде на дворе:

– В доме теперь одна не оставайся, – сказал он ей. – Меня больше не ждите.

Она поняла с полуслова, о чем шла речь. И когда старый знахарь округи Эмчи-Муса скрылся на своём ослике во тьме, ни разу не оглянувшись, она почувствовала охватившее её великое, безмерное одиночество перед лицом некоей бестрепетной силы, вторгшейся в её жизнь, как резкий ветер в окно. И она сказала себе, что будет находиться у изголовья свекрови до последнего её дыхания и за себя, и сына, и за родных её братьев Усенкула и Арына, убежавших от раскулачивания в Чаткал. За всех и за всё брала она теперь на себя последний долг живых перед умирающей свекровью.

Измученная, исстрадавшаяся старушка медленно угасала, а в доме было уже много людей, прослышавших от соседей о последнем часе старой Бексаат. Люди тихо приходили и скорбно уходили, сочувствуя, сострадая, выражая своё отношение в тяжёлых вздохах, иные без лишнего шума принимались делать по дому то, о чем следовало заранее позаботиться в таких случаях: приносили дрова, кто чашку муки, кто лопоту топлёного сала, собирали по соседям посуду, раскидывали по двору солому под ноги...

Так протекала та скорбная ночь у изголовья свекрови.

Среди многих дум, передуманных Сейде, то и дело вкрадывалась как бы со стороны тревога за мужа. Как-то он там, её Исмаил. Как ему быть теперь, когда мать умирает, а ему ни прийти, ни показаться нельзя... Отчего же всё так? Оттого, что он хочет жить по-своему, а закон, людской стговор, велит по-иному. А сила на стороне закона, большинства, а он бежит от закона.

* * *

Он шёл в ту ночь, как всегда, по хорошо изученному пути, вначале под малыми увалами предгорий, потом среди зарослей чия в суходоле, выходил краем поля к обрыву, откуда уже виднелся аил в лунную погоду: крыши, трубы, освещённые окна. И Исмаил отсюда с крайней осторожностью двигался огородами, прислушиваясь, оглядываясь, к своему двору.

Последний отрезок пути и в этот раз он проделал с тщательной осмотрительностью, но чем ближе подходил к дому, тем тревожней и неуверенней становилось на душе Исмаила. Что-то подозрительное насторожило Исмаила, и он остановился под тополем на огороде тётки Тотой. Дальше он не пошёл. Долго унимал зачистившее вдруг дыхание. Сердцебиение не успокаивалось, сердце чувствовало какую-то беду. Значит, Сейде была права – с матерью плохо.

При этой обжигающей мысли Исмаилу стало не по себе. Он сдавленно застонал, прижимаясь к стволу дерева. И, прислушиваясь, убеждался – на дворе хождения, голоса, в доме люди. Значит, дело гиблое. Сердцем он был готов кинуться в дом, растолкать собравшихся, перепугать их своим диким видом и неожиданным появлением, броситься к матери – быть может, она умирает! – и разрыдаться, целуя её холодеющие руки, утонуть, уплыть в плаче, в покаянии за то, что заставлял её так страдать, как никакая другая мать не страдала. Но разум охлаждал эти сиюминутные слабодушные порывы. И он не сдвигался с места, казнил себя, проклинал, но не собиравшись объявиться на людях столь сумасшедшим образом, даже если мать была при смерти. Утешал же он себя тем, что мать простит ему, что она молила Бога, чтобы он уберёгся, ушёл бы и не появлялся ни в каком случае. Он остановился за сараем и тут уже наяву услышал хождения и людские голоса. Вот кто-то кашлянул, кто-то выплеснул воду из ведра. Послышался конский топот и кто-то кого-то спросил:

– Ну что, Мырзакул, плохо что ли?

– Да, надежды мало, – ответил тот.

Потом звякнуло стремя, ударившись о что-то железное, и топот копыт удалился со двора.

Исмаил понял, что то был Мырзакул, дальний родственник, которого он не видел давно, по крайней мере, тогда у него обе руки были на месте, а теперь, рассказывают, потерял руку на фронте и теперь его зовут однорукий Мырзакул. Ну, председатель сельсовета. Ну и что? А без руки, это же представить себе, как жить без одной руки! А он, Исмаил, не захотел оставаться без руки, тем более без головы. За это вот расплачивается, за это казнит себя и бережёт... Но лучше бы он не подходил ко двору и не прислушивался к тому, что делается там. Совсем расстроился, извёлся духом. И ничего иного не оставалось Исмаилу, как потихоньку возвращаться назад. Было уже далеко за полночь, когда он последний раз обернулся на оставшийся внизу аил – всё было во мраке и только в одном месте светились не угасая два окошка рядышком. То был его дом, а в доме том умирала его мать.

Рано утром Исмаил уже шёл, прячась по неприметным местам, снова в направлении аила. Нет, не улеглась встревоженная накануне душа, тянуло его поскорее к аилу, к дому, хотя что это могло дать, каким образом что-то прояснить – Исмаил не мог ответить себе. И однако он шёл.

Так и промаялся он, затаившись в кустах до полудня, лежал, продрогший, утрюмо прислушиваясь и тщетно вглядываясь. Потом ушёл в укрытие и к вечеру, зло озираясь по сторонам, снова вернулся на прежнее место наблюдения. И в этот раз он понял, чутье подсказало, что мать скончалась. Во дворе горел костёр, должно быть, грели воду в большом котле. Значит, хоронить будут завтра. И тут только подумал Исмаил, что надо ведь заранее выкопать могилу. Кто же это сделал? Откопали яму или на утро оставили? Решил на обратном пути заглянуть на кладбище и удостовериться, готова ли могила. Так стоял он под тополем удручённый, растерянный и подавленный.

Потом он тихо побрёл окраиной в сторону большого аильского кладбища на косогоре. На старом косогорном кладбище он не бывал так давно, что и не помнил, когда он тут ступал в последний раз. Помнится, ещё до войны, после курсов трактористов, посадили его вначале на конную сенокосилку, а сенокос был возле кладбища и тогда он в полуденную жару, выпрягнув коней, ходил с парнями ловить перепелов. А перепела паслись в неприкасаемых густых кладбищенских зарослях, поскольку никто, конечно, не посмел бы косить сено среди могил. Сейчас он вспомнил

об этом, о тех безмятежных летних днях, о душистых травах, о стрекодух, о кузнечиках, о птицах, самозабвенно поющих и на небе и на земле, о солнце, которое столь обильно, что его никто и не замечал. Думал ли он тогда, что пройдут годы, и будет он, как затравленный зверь, пробираться темной зимней ночью на кладбищенский косогор, полный жгучей обиды, страха, ненависти ко всему, что привело его в это состояние. Не верилось Исмаилу, что это то самое место. Могила для матери оказалась уже готовой, начисто отрытой. Это не трудно было обнаружить по свежей глиняной насыпи возле зияющей ямы.

На другое утро Исмаил снова потащился в сторону аила. Продрогший в своей пещере, он брёл, зябко поёживаясь и кашляя, прикрывал рот ладонью. В этот раз он шёл в сторону кладбища с тем, чтобы если и не участвовать на похоронах матери, то хотя бы издали наблюдать, как другие будут её хоронить.

По пути он приглядел удобную для себя балочку, двигаясь по дну которой, он мог незаметно сопровождать процессию, так чтобы оставаться незамеченным и в то же время быть достаточно близко к кладбищу.

Похоронную процессию Исмаил увидел ещё издали. Большая толпа людей, многие среди них были верхом на лошадях и ослах, показалась в боковой улице, как и ожидал того Исмаил.

Вот и все. В последний путь провожали старушку Бексаат односельчане. О чём говорили люди при этом, Исмаилу не дано было знать. Судя по всему распорядился погребением Мырзакул.

Когда народ ушёл с кладбища, когда не осталось ни одной души, но голоса ещё были слышны на отдалении, Исмаил пополз к могиле матери. Он полз с обезумевшим лицом, опираясь на дрожащие руки. И здесь он упал на свежую насыпь и, обнимая кучу глины, зарыдал удушливым, хриплым плачем...

"Совсем недолго осталось, вот и весна пришла. Больше терпела, а теперь-то и вовсе стерплю! – думает замечтавшаяся Сейде, пересыпая горстку зёрен с ладони на ладонь. – Только бы Исмаила уберечь. В аиле поговаривают, будто Исмаил не здесь прячется, а на казахской стороне, у свояков... Вот и хорошо, пусть говорят... Продадим телку, припасём муки на дорогу, и ночью выберемся из аила, уйдём... Да, уйдём отсюда..."

Вечером, когда Сейде молола талкан, зашёл Асантай. Мальчик заметно отошёл за последнее время: под глазами густая синева, из засученных рукавов отцовской фуфайки высовываются тоненькие ручонки.

– Мама послала меня за огнём, – сказал он, застенчиво переступая с ноги на ногу то и дело поглядывая на кучку талкана у жернова.

Дети есть дети! Кого не тронет невинный взгляд мальчика, говорящий с мольбой, что он хочет есть! Сейде положила ему в ладошки горсть талкана. Мальчик запрокинул голову, насыпал талкана полный рот и, очень довольный, шмыгнув носом. Ему хотелось отблагодарить Сейде, сказать ей что-нибудь хорошее. Он доверчиво улыбнулся губами, измазанными талканом:

– Сейде-джене, когда отелится корова, мама нам сварит молозива. И я принесу кусочек вашему Амантурчику. Ведь он уже умеет кушать, да? Молозиво вкусное, как творог!

– Сердечный ты мой, да сбудутся твои желания! – растроганная Сейде привлекла его к себе, поцеловала в глаза. – Бог даст, будет и молозиво, будет и каймак, пусть

только отелится корова! Вот тогда и принесёшь нашему малышу, у него уже зубки есть!

Она вспомнила, что и Тотой, и её дети всё ещё ничего не знают о гибели отца, всё ещё ждут писем. Ей показалось, что мальчик догадывается, о чём она думает. Спросила как бы между делом:

– Матери-то лучше стало? Вчера, кажется, ходила по воду.

– Сегодня опять лежит, голова болит. Я хотел остаться дома, чтобы помогать ей, а она не позволила, говорит: если не перейдёшь во второй класс, отец, когда вернётся, ругать будет.

– А то как же? Конечно, будет ругать. Вот вернётся и...

Мальчик часто замигал длинными ресницами и как-то не по-детски безысходно и тяжело вздохнул.

– Ты что это, разве можно так вздыхать! – прикрикнула она на него. – Ваш отец вернётся, только не вздыхай так, это нехорошо!

После того, как мальчик, взяв тлеющую кизячину, ушёл, Сейде долго сидела, обессиленно опустив руки. Этот вздох мальчика, почти ребёнка, потряс её. Сам с ноготок, а всё понимает сердцем. "Сирота! – думала она подавленно. – Да и Тотой, конечно, догадывается, только молчит... И что ж ей делать, бедняжке? Ну-ка, попробуй прокорми трёх сирот. Колхоз помогает понемногу, только этим и живы. Недавно принесла со склада овса полмешка – всё лучше, чем ничего... Только одна надежда у них теперь – на корову...

Долго ещё сидела Сейде, погруженная в свои раздумья, и чем дальше бежали минуты, тем сильнее охватывала её смутная тревога, из головы не выходил мальчишка, его недетский вздох, его голодные просящие глаза. Сейде мучило предчувствие беды

Утром Сейде пошла по воду. Тучи уже плотно затянули небо, большими хлопьями валил мокрый весенний снег. Только вышла за огород, как во дворе Тотой слышались крики, плачущие голоса. Разбрызгивая слякоть, галопом проскакали по улице верховые. "Что там у них стряслось?" – встревожилась Сейде. Бросив ведра, она побежала ко двору Тотой. "Решили, что Байдалы будут оплакивать осенью, неужели кто-нибудь проговорился?" – строила она догадки.

Обогнув дувал, Сейде сунулась во двор и сразу остановилась ошеломлённая. Из гомонящей толпы вырвалась Тотой: волосы её были растрёпаны, чапан, надетый на один рукав, волочился по земле. Она побежала к дверям сарая и закричала истощно, колотя себя в грудь:

– Да вот же, милые мои, вот, родимые, посмотрите: сорвали замок и увели! О-о, горе моё, о-о, покарал меня Аллах! О-о, горе моё!

Кто-то крикнул, пересиливая голоса:

– А вечером ты сама её привязывала? Сама запирала дверь?

– А то как же, родимые, сама, сама! И даже вымечко шупала, наливала она вымечко... Ребята совсем извелись, только и ждали молочка! Как же мне не приглядеть за коровкой, хоть и больная я была! А чтоб руки у меня отсохли!

Когда Сейде поняла, что случилось, её охватил ужас. Вспомнила она, как вчера прибежал Асантай и как он говорил о молозиве, ждал молока, словно необыкновенного сказочного чуда.

"Кто это мог решиться на это, какая подлая, чёрная душа?" – негодуя, думала Сейде. В лицо били мокрые хлопья снега и струйками стекали за шею, она всё стояла и не могла сдвинуться с места, смотрела, как ребяташки Тотой с рёвом цепляются за

полы её чапана. Самый меньшой вскочил, видно, прямо с постели. Он бежал за матерью босиком по снежной жиже и в страхе кричал:

"Мама, мама!" Но Тотой будто не замечала его, металась по двору, выкрикивая осипшим, надорванным голосом.

– Если бы Байдалы был дома, какой вор посмел бы зайти во двор! Будь проклят дом без мужчины!

"Дитя застудится совсем, посинел весь!" – прошептала Сейде. Она хотела подбежать к ребёнку, взять его на руки, но тут из толпы вышел почтальон Курман. Остановив малыша, он молча посмотрел на его покрасневшие ноги в снегу и грязи, потом быстро развязал кушак, стрёб мальчика в охапку и, прикрыв чапаном, понёс к себе.

Почти весь аил сбежался во двор к Тотой. Неслыханное дело! Правда, случалось и раньше – уводили со двора коров или овец. Бывало это. Но сейчас народ сбежался не только потому, что украли скотину, а потому, что вор поднял руку на самое святое для всех людей в аиле: "Кто посмел тронуть сиротскую семью Байдалы?" Люди угрюмо молчали, но в душе у каждого звучали проклятия. Мырзакул уже несколько раз пронёсся мимо двора на коне, кружил где-то по улицам и наконец прискакал вместе с табунщиком Барпы. Как вихрь, ворвался он во двор в шинели с мотающимся из стороны в сторону рукавом, жёстко осадил коня.

– Давай собирайся, народ! – закричал Мырзакул. – Кто может, на лошади, а кто пеший, рассыпайтесь по всем логам и оврагам, ищите! Корова – поддела, а вот эту подлую собаку мы должны найти.

– Верно говоришь! – зашумел народ. – Вор не мог далеко уйти. Если зарезал корову, мясо найдётся, а нет, значит, спрятал корову где-нибудь в старом кургане⁴!

– Так оно и должно быть! Пошли по курганам!..

Вместе с другими Сейде кинулась на поиски. За аилом люди разбрелись в разные стороны. Коршуном пригибаясь к шее коня, промчался за бугор Мырзакул, а в другую сторону, надвинув малахай на грозное скуластое лицо, поскакал табунщик Барпы. И Сейде вдруг ошеломила страшная догадка. Как она не подумала об этом раньше? "Что, если они найдут Исмаила?" Обезумев, она бросилась в сторону дальних лугов, поросших чием. Растерянная и жалкая, металась она во все стороны, пугливо осматриваясь вокруг: не видно ли кого, не идёт ли кто-нибудь по её следу?

"О Боже, если бы корова нашлась, на счастье этих детишек, то люди вернулись бы в аил! О Создатель, верни сиротам корову, молю тебя, я тоже мать, у меня тоже сын, молю тебя ради сына!"

С бугра на бугор, по оврагам бежала Сейде, и страстные заклинания срывались с её губ. Вскоре ею целиком завладела мысль: если сейчас найдут корову, то народ вернётся в аил. В этом её единственное спасение, единственный для неё выход. Значит, надо найти корову, и как можно скорее, дорога каждая минута.

Собрав силы, она побежала дальше. Заглядывала под каждый куст чия, за каждый уступ, лазила по колючкам, изодрала платье. Но нигде не было видно следов коровы.

Вечером, когда Сейде, едва передвигая ноги, дотащилась до аила, кособокие двери коровника во дворе Тотой были по-прежнему распахнуты настежь. В коровнике зияла унылая пустота.

Дома, надрываясь, кричал ребёнок. Должно быть, он плакал весь день.

⁴ Курган – заброшенное глинобитное строение.

Кое-как она уложила сына в бешик и, не раздеваясь, тут же свалилась на пол.

Ночью Сейде проснулась от стука в окно. Спросонок она чуть было не крикнула: "Кто там?", но спохватилась, поняв, что это пришёл Исмаил. Она ещё больше испугалась: "В аиле переполох, принесла же тебя сегодня нелёгкая, боже мой!"

Сейде вскочила с места, открыла дверь, торопливо прошептала:

– Скорей, в аиле плохо! Быстро накинув крючок, она впотьмах повела Исмаила в комнату. Завесила окна и уже собиралась засветить фитиль, как что-то увесистое, шмякнув, выпало из рук Исмаила. Сейде похолодела: ей показалось, что это сердце её оборвалось и упало на пол. Дрожа, она присела, пошарила вокруг себя рукой и нащупала что-то мягкое: это была торба с мясом.

– Так это ты! – сдавленно вскрикнула Сейде. Спазма перехватила ей горло.

– Тихе! – Глаза Исмаила блеснули в темноте. Он придвинулся ближе и тяжело задышал ей в лицо. – Молчи, не твоё дело!

Сейде молчала. В голове помутилось, будто кто-то грубо толкнул её в грудь. Она сидела на полу и, чтобы не свалиться ничком, опиралась на руки. Было одно желание: выскочить из дома и с воплем бежать куда глаза глядят, лишь бы не видеть, лишь бы не знать, что есть на свете такие люди. Но подняться не хватило сил. И даже на то, чтобы закричать, не хватило сил. Она очнулась, когда Исмаил глухо прикрикнул:

– Что сидишь, зажигай свет!

Сейде не шевельнулась.

– Зажигай, говорю, свет!

Исмаил наклонился и увидел, что Сейде ползёт к нему на коленях...

– Ты... ты лучше бы зарезал нашу телку!

– Дура! – Исмаил схватил её за плечо, рванул к себе. – Ты что болтаешь, не тебе меня учить! Если жизнь волчья, то и сам будь волком! Всяк для себя!.. Лишь бы самому нажраться... Какое твоё дело до других? Хоть подыхай с голоду, никто тебе и ложки ко рту не поднесёт. Всяк для себя! Кто рвёт, тот и ест!

Сейде ничего не отвечала. Рука Исмаила сползла с её плеча, нащупала ворот платья, туго сжала. Он с силой затряс жену, захрипел, изо рта его пахло полусырым недожаренным мясом.

– Ты что ж молчишь, а? Я тебя спрашиваю, что ты молчишь? Если бы я зарезал свою телку, откуда бы ты взяла молока для ребёнка? Или чужие дети тебе дороже своего? А как бы мы добивались до Чаткала? Ты думаешь об этом или нет, а? Считанные дни остались, а ты хочешь, чтобы я сдох с голоду в этой пещере? Или другие тебе ближе, чем я? Ну нет, всю зиму я дрог на холоде, теперь хватит... Буду воровать, буду грабить; не для того я сбежал из армии, чтобы здесь околевать как собака! Я не дурак и подыхать не собираюсь!

Во дворе прокричал петух. Пора было уходить. Исмаил подошёл к окну, прислушался, спрятав сигарку в кулаке, и проговорил:

– Ну, что онемела? Припрячь мясо, вари его по ночам, а кости закапывай в сарае, да поглубже, чтобы собаки не разрыли! Он ещё раз затянулся сигаркой, нижняя часть его лица озарилась красноватым, зловещим отсветом, из мрака выступили мокрые губы, хищные ноздри. Потом он бросил окурочек на пол, придавил ногой и вышел.

Чем светлее становилось за окном, тем пристальней вглядывалась во двор молодая седоволосая женщина. Казалось, она выслеживает, куда прячется ночной мрак от света занявшегося дня. Обняв детский бешик, Сейде всё смотрела, смотрела в окно, не отводя глаз. Там, за этим маленьким оконцем, целый мир, аил, народ. Там живут

Курман, Тотой со своими тремя детьми, однорукий Мырзакул и Исмаил тоже... Да-а, Исмаил тоже... "Нет, ты не похож на них... Тот, кто в беде покидает свой народ, волей-неволей становится его врагом! Не сумела я уберечь тебя от этого, да и не смогла бы уберечь!..."

Сейде собиралась. Уложила в узелок пелёнки, надела чапан, туго подвязалась верёвкой, как это делала соседка Тотой.

Возле дверей Сейде остановилась и задумалась, держа на руках сына. Он спал, ничего не ведая, только поморщился и повертел головкой, когда на лицо капнула слеза матери. Потом Сейде подняла с земли торбу с мясом, взвалила её на плечо и решительно шагнула за порог...

Сейде шла по едва приметной в чийняках овечьей тропке. За ней следовали Мырзакул – он ехал верхом на лошади – и двое солдат с винтовками.

Часа два назад командир воинской охраны туннеля приказал солдатам отправиться в соседний кишлак в распоряжение председателя сельсовета. Сейде шла в Малое ущелье, к чабанам. Больше она никогда не вернётся в этот аил.

Солдаты тихо переговаривались между собой.

– Слушай, эта та самая, у которой свели корову?

– Да, по всему видать, она.

– Выходит, выследила его. Молодец баба! Только на кой черт она тащит с собой дите на руках?

– А кто её знает! Чудная какая-то, ей-богу! Давеча председатель ей говорит: садись, мол, на лошадь, ты же с ребёнком. А она ни слова в ответ, повернулась и пошла... Гордая, видать...

Когда они добрались до обрывистой балки, поросшей камышом и дикой талой, Сейде спустилась вниз и приостановилась на повороте.

– Вон там, за камышами! – показала она рукой, и кровь отхлынула от её лица. Не сознавая, что делает, развязала узелок платка на шее, присела и сунула ребёнку грудь.

Солдаты осторожно двинулись вслед за Мырзакулом. Приближаясь к камышам, Мырзакул занёс ногу, собираясь соскочить с лошади. И в эту минуту впереди раздался окрик:

– Эй, Мырзакул! Назад! Мне один конец, но и тебе несдобровать! Уложу! Убирайся!

– Руки вверх! Сдавайся! – крикнул Мырзакул и пустил лошадь вперёд.

В балке грохнул выстрел. Сейде вскочила на ноги. Она увидела, как Мырзакул привалился к шее коня, как он судорожно цеплялся одной рукой за гриву и как обрубок другой руки беспомощно дёргался в рукаве шинели. Потом тело Мырзакула обмякло, и он кулём свалился на землю.

Тем временем солдаты открыли стрельбу. Исмаил отвечал частыми, беглыми выстрелами. В горах загремело эхо.

И вдруг один солдат вскрикнул не своим голосом:

– Эй, маржа⁵! Куда ты? Назад говорю! Назад! Убьёт!

С сыном на руках, в платке, упавшем ей на плечи, Сейде шла к камышам, в которых засел Исмаил. Она шла спокойно и твёрдо, шла так, будто ей ничего не угрожало.

⁵ Маржа – от слова "Мария", обращение к женщине.

Губы её были тесно сомкнуты, глаза широко открыты, и взгляд их твёрд. В ней чувствовалась огромная внутренняя сила. Это была женщина, которая верит в справедливость и в свою правоту. Шаг за шагом приближалась она к камышам. Солдаты растерялись. Не зная, что делать, они кричали ей вслед:

– Назад! Повёртывай назад!

Но Сейде даже не оглянулась на крики, будто не слышала их.

На какую-то минуту звенящая, бездонная тишина сковала горы. Солдаты, укрывшиеся за камнями, Мырзакул, распростёртый на земле с судорожно сведёнными пальцами единственной руки, нависшие скалы и далёкие вершины гор – всё оцепенело в напряжённом ожидании. Вот-вот раздастся выстрел, и женщина с ребёнком на руках рухнет на землю.

Страшную эту тишину нарушил ветер. Волной прокатился он по верхам камышей, ударил Сейде в лицо и сорвал платок с её плеч. Но и теперь ни один мускул не дрогнул на её лице. Гнев и решимость вели её вперёд. Высоко подняв голову, прижимая сына к груди, она шла, не страшась смерти, во имя высокого долга.

– Стой! Стой! – с отчаянием кричали солдаты.

Сжимая винтовки, они кинулись за Сейде. И в эту минуту из камышей выскочил Исмаил. Был он в рваной серой шинели. С перекошенного, измученного лица, заросшего бородой, катился грязный пот. Задыхаясь от ярости, он поднял винтовку для удара и грозно двинулся к жене.

Все больше сокращалось расстояние между ними. Вот они сблизилась вплотную, лицом к лицу. И он не узнал прежней Сейде. Это была другая, не знакомая ему женщина: седоволосая, с непокрытой головой, она бесстрашно стояла перед ним, держа на руках сына, и ему вдруг показалось, что она стоит высоко, очень высоко, недоступная в своём скорбном величии, а он бессилен и жалок перед нею.

Исмаил пошатнулся, с силой швырнул винтовку навстречу подбегавшим солдатам и поднял руки.